

взрослое курение на кухне, соединенной с железной лестницей, не обходится.

Иногда из комнаты приходила Ларка, но отчето-то у нас с ней разговор никак не шел дальше того, что я утверждал, будто она никакая не Ларка, нечего, мол, тут красоваться, а простая Лариска, и все тут, а она, соглашаясь, что хоть, мол, она и Лариска, но ведь когда они вырастут, к ней станут обращаться по имени-отчеству – Лариса Григорьевна. А это звучит строго. Да и вообще, я хоть ее постарше, но еще мал судить о женской красоте!

Ха! Мал! Да ведь она сама-то малее меня, пусть и на один год, но малее же! Что-то у нас с Ларкой-Лариской не клеилось. Тоже мне, Лариса Григорьевна!

Зато на кухне завязывались знакомства!

Не успевали папа с дядей Гришей выкурить по полпапироски, как в кухню кто-нибудь обязательно заходил. То заглядывали незнакомые нам женщины, то лестница начинала глухо и, конечно, с железной интонацией звучать под тяжелыми мужскими шагами, и в перешейке между туалетом и кухней появлялся взрослый мужчина. Он обязательно подходил «поздороваться» с дядей Гришей, ну и, понятное дело, познакомиться с отцом. Или эти взрослые сами говорили немного про себя: мол, работаю в стройконторе, на заводе, который делает школьные принадлежности, или вообще на железнодорожной станции, или, когда новый знакомый уходил к себе, дядя Гриша, понизив голос, если на кухне был еще кто-то, кроме меня и Ларки, или голоса не понижая, – говорил громко:

– Этот Леонид хороший прораб, но вот беда, простывает на стройках. Часто болеет.

Или, например, говорил:

– А этот Аркадий преподает марксизм в пединституте, но как-то закрыто себя ведет, много не болтает и учит иностранные языки. – Дядя Гриша делал ударение на букве Ы в слове «языки». – Выучил уже немецкий, теперь выучивает аглицкий.

Я еще и понять не был в состоянии, что, называя английский аглицким, по очень-очень старинному обычаю, дядя Гриша как-то немножко – а может, и множко, – иронизирует перед отцом. Они-то никаких языков не учили.

Но я тогда ничего этого не мог понимать, даже не был в состоянии оценить, что это значит и почему какой-то тут дядечка учит иноземные языки.

Я просто запоминал, как зовут этих дяденек: Леонид, Аркадий, подходил потом шофер Владимир. Подходили попозже и их жены – с кухонными делами, и дядя Гриша уточнял отцу, кто тут кому приходит-

ся женой, кто чей муж, и тут моя головка все путала, как путаются взрослые люди всегда и во всех детских соображалках.

4.

Потом я стал знакомиться с детьми.

Это заставляло поджиматься, отлепляться от отца, становиться самостоятельной фигурой.

Сначала ко мне подвели толстоватого Артура. Оказалось, что он сын того дяденьки, который учил иностранные языки. Ну, подвели и подвели – он протянул мне зачем-то руку – в ту пору так детский народ еще не знакомился, – ну и мне отец велел протянуть руку. Но ничего не произошло. Ничего во мне не вздрогнуло, как и в нем. Только я вдруг спросил, и для себя-то неожиданно:

– А почему Артур?

И тут его отец расхохотался. Только что он жал руку моему отцу и назывался совсем обыкновенным именем – Аркадий Васильевич, а тут почти напугал меня, да и папу, наверное, удивленно воскликнув:

– Ты счастливый человек! Тебе еще только предстоит узнать, что такое янки при дворе короля Артура!

– Ну какой же он король? – искренне спросил я.

– Не король, не король! – продолжал смеяться веселый Аркадий Васильевич. – И никогда им не будет! Но зовут его Артур! Это мы его так называли! Его бестолковые родители!

Вообще, этого смешливого дяденьку, отца Артура, я видел в дальнейшей жизни всего раз пять, не больше, проникая в коридорную систему этого странного дома, и всякий раз он, узнав меня, приветливо спрашивал:

– Ну, не прочитал эту книгу? «Янки при дворе короля Артура»?

И я мотал головой, пока классе в пятом не наткнулся в городской библиотеке на растрепанную книгу с таким названием американского писателя Марка Твена, быстро проглотил ее – в смысле, прочитал, – и потом отыскивал сочинения этого писателя до тех пор, пока не сделал в нашей главной детской библиотеке доклад «Любимые романы о старой Англии», получив за него не только грамотку с печатью, но и почти новую книжку Марка Твена про Тома Сойера и Гекльберри Финна, приняв которую несказанно удивился, никак не ожидая увидеть Марка Твена пахнущим типографской краской и свежим клеем: ведь только что прошла война.

После взятия такой высоты я стал прямо-таки искать встреч с Аркадием Васильевичем. Чтобы,

больше не срамясь, доложить, каким я стал глубоко-знатком Марка Твена.

Но Аркадия-то Васильевича я уже никак не мог увидеть. Он уехал куда-то учиться на целый год или даже три года, и знающие люди не могли даже и предположить, где так долго учатся и чему. А Артур молчал, и мать его Людмила Степановна, которую тетя Лина звала Милой, тоже молчала из каких-то таинственных соображений. А объяснять мои странные – да и случайные – познания Артуру у меня не было желания. Да и он-то, казалось, стонился меня.

Однако тут я забегаю вперед... «Янки при дворе короля Артура» я прочитал уже в конце войны. А руку Артуру пожал над лестницей еще перед войной!

Сколько воды, сколько крови, сколько бед произошло и покатилося над всеми нами и над каждым из нас!

И над коридорной системой, в которую мы лишь изредка заглядывали.

5.

Из всего, чего было перед войной, я запомнил еще Новый, 1941 год. А речь именно и конкретно – про последний день декабря 1940 года, в полночь превращавшийся в 1 января 1941-го.

Мама и папа, поговорив о чем-то взрослом между собой и в разговор этот меня не вмешивая, совсем для меня неожиданно заявили, что Новый год они вдвоем, без меня, решили отметить в том самом, известном мне доме, где двери выходят в широкий полутемный коридор. А я останусь дома, с бабушкой, вовремя лягу спать и когда проснусь утром, все мы опять встретимся, но уже в наступившем новом году.

Я даже не сумел еще толком разобраться, что это такое сказали мне мои родители, но утро мое малое, что ли, тут же учуяло опасность. И еще до того, как сказанное оценила моя душа, взвыло всеми мыслимыми регистрами остальное существо.

Мне даже показалось, что выли мои руки, ноги, живот и, конечно, голова – но как может быть существо без участия головы!

Может, уж думаю из нынешнего своего взрослого бытия, что утро и есть никому не понятная интуиция, проще говоря – чутье, которое все знает наперед! Но знает и чувствует каким-то потаенным знанием, и я подумал – может, оно раньше всех – раньше мамы и отца, раньше партии и правительства во главе со Сталиным, раньше всего и всякого – знало: это последний, может быть, Новый год я могу встретить

с отцом, дальше – война, обрыв, тьма, и сквозь нее ничего разглядеть невозможно!

А в Новый год все должно быть вместе, пусть и в гостях каких-то, а не дома – но в такой праздник люди не-по-дели-мы! И нас нельзя! Ни за что нельзя поделить – я дома, хоть и с бабушкой, – а они! Где-то в чужом месте!

Без меня!

Моя душа скорбела горестно и искренне, отчаянно и беспомощно, может, даже прощальную интонацию услышали родители, которые терпеливо слушали мою слезную арию. И были они словно завороненные: мой папа, совсем еще молодой, да и большевик к тому же, и мамочка, медицинский лаборант, а значит, человек естественных наук, почти всегда знающий, где проходит черта, за которой начинается нездоровье.

Она первая и сказала взрослыми словами:

– Будет тебе так заходиться! Пойдешь с нами.

Мое уставшее, натруженное предчувствием нутро будто разом отключилось от всяких горестных состояний. Ему требовалось доброе понимание, а может, сочувствие. Я глубоко вздохнул и, не требуя дальнейших подтверждений, стал собираться на Новый год в чужой дом.

Моя мамочка откуда-то знала, что на кухонной площадке, учитывая тесноту комнат, выходящих в коридор, будет установлена высокая елка и для нее не хватает игрушек. Она сбегала в магазин и елочных игрушек купила. Несколько из них она повесила на нашу собственную маленькую елочку – ее устроили прямо на столе, и я водил пальцем по сияющим поверхностям золотых шаров, по серебряным бусам – потому что сказочная гладкость рождала во мне предчувствия чего-то необыкновенного, волшебного и ни с чем не сравнимого. Особенно нравились мне ярко-красные пульки на ниточках с проволочными приспособлениями внутри. Пульки, очень даже не маленькие, сравнимые – если бы я что-то знал об этом в то время – с малюсенькими снарядами – висели на ветках, склоняя их своим весом. И были удивительным образом тяжеловесны и странным образом убедительны. Печально, пожалуй, слышится – но тяжело убедительными.

Что-то подобное сказал и дядя Гриша, когда мы вечером под Новый год пришли в тот, известный уже, дом, поднялись по железной лестнице и увидели елку с редкими игрушками в пространстве между кухонными столиками, на которую мамочка стала развешивать принесенные нами игрушки, среди которых оказалось штук пять красно-золотистых пуль. И вот дядя Гриша, вышедший нас встречать,

глянул на них, потрогал рукой, о чем-то подумал и сказал, обращаясь к отцу:

– Для какой, думаешь, это системы?

Отец, похоже, и сам был озабочен такими сравнениями. И ответил не раздумывая:

– Зенитные патроны. Крупнокалиберный пулемет Дегтярева – Шпагина.

– Что вы говорите! – возмутилась моя мамочка, обнимаясь с тетей Линой. – Это просто елочные игрушки! И хватит придумывать лишнее!

6.

Новый год в коридоре оказался самым шумным и многолюдным в моей детской памяти.

Оказалось, что все столы и столики из кухни можно переместить в этот широкий коридор, к ним вдобавок вытащить столы позначительнее, почти из всех комнат, где жили люди, а к ним прибавить множество стульев разной конфигурации – от породистых, венских, до угловатых самодельных, табуреток, топчанов и всего иного, на чем можно сидеть – пусть без удобств, но надежно, уверенно и спокойно.

Поверх столов женщины раскатали скатерти не первой новизны, а кое-кто и простыни, а мужчины ввернули в электрические патроны, торчавшие вдоль стен, лампочки поярче, и коридор не то чтобы засиял, но просветлел, может, даже заулыбался людям, молчаливо укоряя их: а разве, дескать, нельзя, чтобы я был освещен так всегда!

Потом, вспоминая праздник, мне мамочка пояснила, что, конечно, нельзя и что лампочки, освещавшие общий тот коридор, сменили на маленькие и тусклые уже утром, потому что хоть и немного, но за электричество надо платить и все жильцы этого коридора дружно порешили вернуться в привычный сумрак, нежели тратить деньги. И так-то у всех небольшие.

Но в тот вечер!

Стол, протянувшийся вдоль всего коридора, от начала и до конца, блистал разнообразной посудой – от барских откуда-то фаянсовых блюд, даже блюдищ, до малюсеньких кофейных блюдец с такими же чашечками, в которые потом нальют вино, с вилками и ножами обочь тарелок разных пород и фасонов, а чашки, супницы, мисочки и даже различных размеров таз, полный салата, сияли, сверкали и, кажется, слегка шевелились, поскрипывая и постанывая в предвкушении праздника, готовые отдать свое содержимое щедрым устроителям такого парада.

Застолье собиралось долго. Возле стола энергично передвигались многочисленные женщины, большинства которых я не знал, как и не знали мои родители, и тетя Лина активно представляла их здешним старожилам.

Мама, поворачиваясь ко мне время от времени, охала и ахала, тихо причитая:

– Ой, как бы запомнить! Как запомнить!

И я сочувствовал ей, даже не пробуя запомнить имена и фамилии здешних хозяев и, кстати, их гостей, потому что таких, как мы, приглашенных, было еще несколько: все это вместе взятое называлось «складчина».

Впрочем, непонятное такое слово после его пояснения стало очень даже понятным. Оказывается, те, кто собирался на коридорный праздник, дали деньги, все поровну, и вот на эти деньги застолье и приготовилось: купили овощи, мясо, кур, колбасу и все-все-все, что требуется для праздничного стола. Только на шампанское не хватило, как скажет позже папа, но все дружно обошлись и без шампанского, а беленьким и красненьким.

Где-то к половине одиннадцатого застолье окончательно утряслось – все стулья и табуретки оказались заняты, кроме нескольких, тех, что поближе к входу возле лестницы и, таким образом, к елке.

Вся наша семья была пристроена у двери, ведущей в комнату дяди Гриши и тети Лины вместе с их дочкой. И они, наши друзья, сели справа и слева от нас, как бы окружая и помогая нам свободно чувствовать себя в коридорной системе.

Напротив нас сидела семья Андреевых, как мы узнали сразу же. Черноглазая тетя Зина, бледный, лысоватый, улыбчивый Леонид Петрович, попросту – дядя Леня, и их сын Левка.

Когда его представляли, мой папа вроде как пошутил, уточняя:

– Значит, Лев! Царь зверей!

Но мальчик моего возраста, совсем не теряясь и, похоже, не в первый раз, бойко откликнулся:

– Нет! Просто Левка!

И пояснил моему слишком разборчивому папе:

– Ну какой я лев!

Все рассмеялись. Вообще-то рассмеялись сначала мы, все, кто участвовал в разговоре, но скоро папин вопрос и Левкин ответ пошли по цепочке вдоль длинного стола, и там раздавался смех, и Левке хлопали издали, а он вставал и всем аплодисментам шутиливо кланялся.

Так что Левка стал именинником на подступающем новогоднем празднике. За несколько буквально минут.

Но стол бушевал, кричал, светился, и час, который отделял нас от столицы, пронесся одним мгновением, а потом мы услышали голос Москвы, который прозвучал из черного и круглого репродуктора. И услышав, умолкли: там кремлевские часы – по имени куранты – отбивали двенадцать тяжелых ударов.

Впрочем, ведь наш город был восточнее Москвы, и если там, в столице, по радио рассказывали еще разные шутки – а репродуктор вывели в коридор и включили на полную катушку, – у нас-то праздник наступал на час раньше. И взрослые, шумливая, переговариваясь, споря и восклицая, стали наполнять свои сосуды.

В это мгновение в проеме двери, ведущей на кухню, появились трое, и все как по команде стихли.

Мужчина был высок и строен, довольно молод, но одет в синюю военную форму.

Мы-то ведь с раннего детства знали, что военные в зеленой форме – это армия: и пехота, и артиллерия, и танкисты. В черной форме – моряки. А вот в синей...

Я толком не знал, кто носит синюю форму, а взрослые, видать, знали все, и я посмотрел на своего папу вопросительным взглядом.

Он понял меня и ответил мне шепотом на ухо:

– Энкавэдэ!

Я смутно догадывался, что это какие-то внутренние дела, милиционеры, например, а высокий человек громко сказал всем, ни к кому персонально не обращаясь: «С наступающим вас, дорогие соседи!» – и сел на табуретку. И возле него, с обеих сторон, устроились его жена с толстой косой, уложенной на голове будто царская корона, и его сын

Владька, про которого я уже кое-что слышал.

И все будто выдохнули воздух, набранный в себя. Чей-то женский голос крикнул:

– Спасибо!

Кто-то, из мужчин, добавил:

– И вам того же!

А Ларкина бабушка Лиза, полупарализованная какой-то жестокой болезнью, с рукой, висящей плетью, запоздало и вовсе не тихо проговорила:

– Вашими молитвами.

Её услышали все.

7.

И вдруг раздался тоненький звук колокольчика. Вначале мне показалось, что звук этот просто слышится.

Я повернулся к середине стола и увидел, что чем-то очень похожим машет в воздухе Аркадий Васильевич. Постепенно все угомонились.

А он громким, уверенным голосом проговорил:

– Дорогие соседи! Дорогие друзья! Через несколько минут к нам придет Новый год! На час раньше, чем в Москву.

Все притихли – как-то настороженно, тревожно.

– Что он принесет нам? Мы думаем об этом каждый по-своему и верим, что все будет хорошо. Но мир в тревоге. Немцы стали хозяевами всей Европы! И нам надо... надо собраться с силами. Сплотиться, сжаться, объединиться – не просто так... – Он обвел рукой стол. – А соединиться духом вокруг одной идеи, одной цели, одного человека.

Тут он помолчал мгновение и проговорил:

– Да здравствует СССР! Да здравствует товарищ Сталин! С Новым, одна тысяча девятьсот сорок первым годом!

У меня в железной кружке ждал своей минуты сладкий морс, а взрослые чокались своими напитками. И все кричали наперебой:

– Ура!

– С Новым годом!

А я услышал, как бабушка Лиза с недвижной рукой опять сказала как-то невпопад:

– Помоги им, Господи!

Я еще подумал про себя: о ком она? Кому – им? Все остальным, что ли, кроме нее?

Но стол бушевал, кричал, светился, и час, который отделял нас от столицы, пронесся одним мгновением, а потом мы услышали голос Москвы, который прозвучал из черного и круглого репродуктора. И услышав, умолкли: там кремлевские часы – по имени куранты – отбивали двенадцать тяжелых ударов.

Тут уж совершенно все вскочили, даже бабушка Лиза тяжело поднялась, и все опять кричали «ура», и мне очень нравилась эти минуты всеобщей радости, и я сам кричал, как и Левка Андреев напротив меня, и мы переглядывались и орали, стараясь в общем хоре своими писклявыми голосками переорать друг дружку, понимая при этом, что это просто такая забава, и перекричать мы, может, и могли бы друг дружку, если бы голоса не тонули в этом многоголосом взрослом крике.

Я кричал и вглядывался в лица взрослых, с которыми познакомился и которых видел впервые, и мне казалось, что все они очень красивые. У некоторых женщин блестели глаза и катились слезы по щекам, мужчины все подряд улыбались, дети ликовали, равняясь на взрослых и становясь похожими на них.

Мне казалось, что лица, незнакомые раньше, приближаются ко мне и становятся какими-то родственными – будто тут не соседи собрались, да еще и из чужого мне дома, а просто родня, которая давно не виделась и вот, наконец-то, собралась, да еще и в самый что ни на есть счастливый день.

Крик – мне казалось! – длился долго, и я, еще не пожав рук и ни разу ни о чем с ним не поговорив, уже знал Владьку Деньгина, сына того самого энкавэдэшника в синей форме. И с какой-то удивительной симпатией относился к его матери, которую звали, оказывается, Ольга Петровна, – смущенной, не очень-то нарядно одетой женщине, которую удивительным образом украшала корона из светлых кос. И женщина эта как будто вся светилась!

Я уже знал откуда-то, еще не поговорив, Дольку, которому еще достанется в этой жизни, потому что Долька – это сокращенное имя Адольфа – слово, которое уже надвигалось на всех нас, и только в конце войны, подрастая, он сменит его, вернее, сменят взрослые, повинные в том, что задолго до войны, в 1933 году, нарекли его таким, можно сказать, страшным... прозвищем.

В общем, меня захватила вся эта небывалая для тогдашнего дня обстановка: сияющий – хотя, конечно, весьма условно, – коридор, стол, переполненный едой, – кто бы знал, что в последний раз перед великой скорбью, – безмятежные, радостные, разгоряченные лица людей, которые в сей миг не хотят помнить и знать ничего, кроме радости и веселья, захлестнувших их.

И этот до самого дна человеческого искренний праздник закрепился в моем сознании на всю жизнь!

Шли годы, я выросал, как все мои сверстники, выросел, как полагается каждому человеку, а эта

картинка – то ли невыцветающая фотография, то ли пышущее всеми красками полотно, – хранится в моем сознании и по сей час. И я верю, что хранится во многих душах, пока они были в нашем мире. Но почти все они уже удалились.

Вместе с ними и память того вечера.

Об одном молю судьбу: позволь пусть и одному мне не забыть историю коридорной системы, чтобы рассказать о ней новым людям новых времен, не могущим помнить прошедшего.

Так я встретил Новый, 1941 год. Вместе с моими родителями. И новыми знакомцами.

8.

Зима для небольших детей всегда в радость. Если снег пушистый и мягкий, можно вытянуть язык, закрыть глаза и ждать, когда на него приземлится снежинка. А если долго не прилетает, то можно и прямо сугроб лизнуть, и вовсе не страшно, а радостно, когда тебя кто-нибудь в этот миг подтолкнет и ты всем лицом окунешься в снежный холод. Потом, когда утрешься, лицо запылает, даже загорит странным огнем, и уж без смеха тут не обойтись!

А еще ведь – ледяные катушки, по которым можно скользить в обыкновенных, но лучше подшитых валенках, санки, снежки, если чуть истеплело, и теперь горят руки от слепленных тобой белых шариков и визжит – от них же – проходящая девчонка, если ты этим шариком попал ей в спину.

Ларке в тот день я снежком заехать не решился – все-таки дочка родителей друзей, да она и без того смеялась во весь рот, пытаюсь поймать им снежинку. А вот тетя Лина, которая с ней пришла, на меня даже не глянула, а торопливо вошла в нашу дверь.

Какая-то надобность заставила меня тихонько войти к себе домой, на цыпочках, сняв в прихожей валенки, и меня остановил ее хриплый плач.

– Арестовали! Арестовали! И Ларке не могу ничего сказать.

– Но почему, почему? – спрашивал мамин голос.

– Да по калачу, – ответил сдержанно и как-то неуверенно отец.

Надо заметить, что я-то обретался в летах, когда слова слышимы и даже запоминаемы, но не всегда понимаемы.

Я появился на цыпочках перед взрослыми, чтобы что-то спросить, но они так напугались отчего-то моего невинного явления, что мамочка даже воскликнула:

– Как же ты напугал нас!

А что бояться меня, не понял я, спросил что-то, уж не помню и что.

Вечером мамочка, уложив меня спать и подождав одеяло, несколько раз повторила, натужно улыбаясь:

– Никогда не подкрадывайся, сынок! Не подкрадывайся ни к кому! Понимаешь!

Ничего, конечно, я не понимал, и слов таких не понимал – арестовали! арестовали! – но тетя Лина перестала к нам приходить, хотя они с мамой дружили еще со школы. Мамочка говорила отцу об этом при мне, но он почему-то отвечал, что надо подождать, пусть пройдет немного времени, и все выяснится, и Лина сама к нам зайдет, чтобы рассказать подробности.

Мама охала и ахала, но отца слушала, а потом к нам зашла ненадолго тетя Зина Андреева, мама Левки, который сидел в Новый год напротив меня и не желал называть себя Львом.

Единственное, что я услышал и понял, – были слова тети Зины, будто ее прислала Лина. Сама идти не хочет по какой-то такой непонятной причине. Но отправила ее.

И тут взрослые засобирались в магазин, а меня оставили ненадолго дома. Такое уже бывало и раньше, так что я не удивился.

Из магазина мама вернулась одна, с пустой авоськой, повесила ее на крючок и посмотрела сквозь меня. Обычно всегда спрашивала меня – что да как, интересовалась всякой мелочью, даже заглядывала в мой горшок, а тут молча села и так просидела, пока не появился отец.

Едва он вошел, первое, что сказала ему:

– Гриша уехал в командировку.

Отец кивнул, не удивившись, ответил:

– Я знаю.

И на этом про дядю Гришу они забыли. А я вот почему-то не забывал. Зачем-то, без всяких причин и поводов, дядя Гриша вдруг возникал передо мной ни с того ни с сего.

Он был худощавый, жилистый, невысокого роста – самый маленький во всей их коридорной системе, но бодрый. Говорил четко, понятно всем, даже мне, но не болтал, а как объяснял сам же – высказывался. Ну вот и все. Уехал в командировку, так ведь это же по работе, так полагается. Никак я не мог взять в свой малой толк, отчего же при упоминании этой командировки мамочка как-то понижает голос.

Несколько раз опять приходила тетя Зина, и у мамы был всегда уже готов для нее небольшой сверток с едой, которую мы не ели, например, твердой колбасой и таким же твердым сыром, и она их

просто отдавала Зинаиде, разговаривая совсем о чем-то другом, и Левкина мама забирала этот, не такой уж большой сверток. Но однажды между ними проскочило слово, не очень мне понятное, но в то же время и очень простое: «Передача».

Кажется, это тетя Зина сказала о какой-то передаче, но мама насторожилась, сделала паузу и тут же кивнула:

– Конечно, раз человек заболел, ему надо передачку отправить. В больницу не очень-то нынче пускают.

Так и проскочило это, случайно произнесенное слово, и я, как хотела мама, не клюнул на него. Да и откуда я, начинавший жить малец, мог знать, что у некоторых русских слов бывает несколько совсем разных пониманий.

9.

Между тем никакую тайну не скроешь.

Однажды все та же тетя Зина пришла к нам не одна, а со своим сыном Левкой, и, приняв мамин сверточек, они позвали меня к себе, мама согласилась, услышав, что тетя Зина проводит меня обратно до самой калитки, и мы отправились к Левке, болтая о всякой мелочи, не оставшейся в памяти.

Комната, где они жили, была поменьше, чем у дяди Гриши с тетей Линой, и крайне просто обставлена. Широкая родительская кровать за ширмой и узенькая койка для Левки, а между ними, у окна, обеденный стол.

Я запомнил, что вся остальная часть пола была завалена детскими принадлежностями – кубиками, машинками, в большинстве своем поломанными и неновыми, медвежатами с оторванными лапами и безголовыми клоунами. Не было ничего, сделанного из стекла, а остальное валялось свободно и непринужденно.

Впустив нас в комнату, тетя Зина заворчала на Левку, дескать, опять он не убрал, но ведь и она тут хозяйка, так что ворчанье сменилось быстрыми шагами, и пол в две минуты очистился, а тетя Зина провела по нему влажной тряпкой. Стулья были приперты к столу, так то мы присели на край Левкиной кровати и о чем-то там болтали, заводили не заводящиеся машинки, тщетно пускали их по полу, они порой включались и непременно въезжали в тети-Зинины тапочки, а она всякий раз вскрикивала, хотя это ведь не больно, и все вместе мы смеялись.

И вот тут-то все мне стало известно. Потому что Левка, перебивавший в голове, чем еще передо мной можно похвастаться, сказал громко и с гордостью:

Только мы с Ларкой сидели, ничего еще толком не понимая. Да и посадили нас зачем-то рядом, как двух желтоклювых птенцов. Мол, хлопайте глазами да помалкивайте: детям еще рано такое понимать.

Эх, матушки, наши лапушки! Знали бы, что я спросил Ларку, когда мы вышли из-за стола и отправились погулять в коридор, где раздавались детские голоса.

- Значит, – спросил я, – дядю Гришу брали по политической?
- Ну да, – ответила она и выдохнула, как выдыхают откупоренные бутылки с морсом.

11.

Первый раз я видел коридорную систему после объявления войны. Ничегошеньки в ней не переменялось. Хотя нет! В дальнем от входа углу, повыше лампочки, тускло мерцающей, на каком-то огромном гвозде повисла детская ванночка – не такая уж и маленькая – из поблескивающего металла, которыми покрывают крыши новых домов, оцинковки, как я позже узнал.

Просто она тускловата блестела, и пространство широкого коридора от этого чуточку убавилось.

В коридоре возник Левка в каких-то коростах на лице: то ли заболел, то ли с кем-то подрался, но его бодрый голос означал его абсолютное здоровье и жажду действий.

- Ну че? – обрадованно воскликнул он, совершенно не принимая во внимание, что началась война и дядя Гриша уже уехал принимать тяжелые орудия.
- А через плечо! – откликнулся хрипловатый голос мало мне известного Дольки. Была тогда у пацанов вот такая словесная перекличка, мало, надо сказать, цензурная, но не самая дерзкая. Как мне тогда казалось.
- У тебя-то отца не берут, – придирался лохматый Долька.
- Дак у него ТБЦ, – оправдался Левка.
- А что это такое? – спросила Ларка.
- Он болел туберкулезом, – почти крикнул Левка. – С ним не берут.
- Болел! – не унимался Долька. – А не болеет!
- Болел – не болел! – злился Левка. – Это дело врачей, а не твое, фриц!
- Что-о-о! – заорал Долька и кинулся с кулаками на Левку, да попал ему, похоже, в коросту, и тот взвыл, может, и не столько от боли, сколько от обиды, и проорал:

– Да хуже, чем фриц! Ты же не Долька, а Адольф! Как и Гитлер!

И закривлялся:

– Здравствуйте, фюрер! Адольф Фрицевич!

И тут началась свирепая драка. Долька был постарше Левки, ну, может, на год, но в дошкольные времена год – это не просто много, а о-очень много, даже если говорить только о росте и мускулатуре, – и Долька лупил бедного Левку почему зря. Тогда говорили: метелил.

Но Левка оказался живучим и упертым.

– Гитлер! – кричал он. – В нашем коридоре! Живет Адольф!

На крики выскочили из своих комнат дядя Леня Андреев и Нюра, Долькина мать, так ее звали все взрослые в коридоре. Вышли зачем-то и Аркадий Васильевич со своей женой Милой, а из-за них высовывался Артур.

Но Долька с Левкой не утихали, сражаясь друг с другом. Хорошо, что никто из них не упал, – другой непременно бы воспользовался случаем и пнул ногой, а это было бы уже за пределом простой потасовки.

Дядя Леня схватил Левку за шею, а перед Долькой выставил ладонь. Нюра хлопыстнула Дольку влажной тряпкой, которую, как орудие главного калибра, вытащила откуда-то из-за спины, и он скрылся.

– Ну и ну! – воскликнул Аркадий Васильевич, который, как я понял еще в Новый год, был здесь если и не за главного, то за самого уважаемого. – Ну и ну! – повторил он. – Военные действия в собственном коридоре! – И проговорил совершенно непонятное: – Разброд в собственных рядах – это первый шаг к поражению. Хоть на фронте! Хоть дома!

И сердито скрылся за своей дверью. Вместе с женой и сыном.

Потом Левка подробно рассказал мне, что полное имя Дольки – Адольф – он не у постороннего какого-нибудь узнал. А у самого Дольки.

Тот горевал, тосковал, говорил, что имя придумали родители, которые в Бога верить отказались, как того требовали с большевиков. Даже если это были самые простецкие большевики – у Дольки-то отец работал шофером на автобусе. Так бы назвали его просто Ванькой или Санькой, да и дело с концом, но ведь выискали же Адольфа!

И если бы Долька сам не начал, сам не стал кричать, что Левкиного отца в армию не берут несправедливо, никогда бы он не стал ссориться с Долькой. Даже драться.

Детская эта драка в общем коридоре стала предметом обсуждения и взрослой публики. Моя мамоч-

ка сказала тете Нюре, что знает семью, где парень постарше Дольки тоже назван Адольфом, но все его кличут Адькой, а это может быть производным от Владьки, к примеру. Но Нюра не спросила, а сказала тоскливо:

– Да ведь в свидетельстве-то осталось?

Мама кивнула и сумела добавить лишь одно утешение:

– Ну кто их смотрит, эти свидетельства?

– Надо его переименовать! – твердо сказала тетя Нюра.

Говорила мамочка с Нюрой при мне, прямо в коридоре, теперь Долькиной тайны не существовало, и хотя он-то вообще ни в чем не был повинен, рас-плачиваться приходилось ему.

С одной стороны, это вызывало к нему сочувствие, а с другой – что же поделаешь: написано пером, а не вырубил и топором.

Под легкомысленным именем Долька скрывался всем ненавистный фюрер.

12.

Тот, сорок первый год, так счастливо начавшийся в общем коридоре, становился все непонятнее: страна голосом знаменитого диктора Левитана объявляла нам о все новых отступлениях.

И, может быть, всякий раз даже для взрослых, не говоря про нас, ребятню, уверенные, но и печальные слова этого неведомого человека из Москвы каким-то непонятным образом больно касались нашей жизни.

Вторым, после дяди Гриши, взяли на фронт Долькиного отца, дядю Володю, потому что, как сказала тетя Нюра, он был шофер, а требовалось многое множество шоферов, чтобы оказать сопротивление врагу. Они ведь и машинами рулят, и даже самоходными орудиями, если потребуется.

Ушел он, как говорила тетя Нюра, заглянув к каждому соседу и со всеми попрощавшись за руку. Ясное дело, это было без нас, мы ведь живем в другом месте.

Так что дядя Володя, как и дядя Гриша, ушел из дома пешком, с вещевым мешком за спиной, без всяких проводов.

Не попрощавшись ни с кем, исчез и самый обр-азованный из всех соседей – Аркадий Васильевич, отец Артура. Как сказал нам потом Арик, просто за ним пришла легковая эмка, и отец сказал, что едет на аэродром. Потом сообщит, где он. Довольно скоро пришла телеграмма, что он в Москве и зачислен в штат Комиссариата иностранных дел.

Услышав такие слова, коридор как будто сник, удивляясь и не понимая, что это значит. Но втайне эти слова глубоко уважали. Это же известно: чем непонятнее, тем уважаемее.

А вот уход того высокого и худого дяденьки в синей военной форме, отца Владьки Деньгина, я нечаянно застал. Мы зачем-то пришли к тете Лине, Ларке и их обезрученной бабушке Лизе и только налили чай, как в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел он. Только не в синей гимнастерке, а в зеленой, но с теми же ромбиками в петлицах.

Он улыбался лишь чутьочку, лицо было спокойно, и тетя Лина назвала его Ильей Сергеевичем, отирая стул тряпкой – чтобы он сел.

Но он не сел, а чутьочку наклонил голову и сказал:

– Не беспокойтесь, я зашел попрощаться. Вечером эшелон на Москву.

И тут глаза его опустились, как-то заблестели, и он добавил:

– Берегите друг друга. Всем нашим коридором! И семью мою не забудьте, дорогая Лина Павловна! Мою Ольгу и моего Владьку!

Он сказал это каким-то безнадежным голосом, как-то очень нетвердо, даже неуверенно, но уверенно шагнул вперед, к тетя Лине, неожиданно наклонился и поцеловал ей руку.

Моей маме он руку просто пожал, и Ларке, и мне, и бабушке Лизе. И бабушка молча перекрестила его здоровой рукой. Он вышел. Было слышно, как он стучит в другие двери. Потом в другие. Ко всем заходит и со всеми прощается.

Потом мы с Левкой обсуждали, почему синяя форма сменилась у него на зеленую, и туберкулезный дядя Леня пояснил нам, что Илью, похоже, перевели из органов в действующую армию, вот и все.

Добавил, вздохнув:

– Под пули.

– А чего? – спросил Левка отца. – Пули в органы не попадают?

– Еще как! – усмехнулся его бледный отец, но мы не очень-то поняли это взрослое объяснение.

Итак, Илья Сергеевич ушел на войну последним из мужчин коридорной системы. Его спокойное лицо мне запомнилось надолго хотя бы потому, что он пожал мне руку по-взрослому, не улыбаясь, да и какие могли тогда быть улыбки, когда человек прощается, уходя на войну!

И все-таки лицо его выражало что-то особенное. Спокойствие казалось совсем не успокаивающим, наоборот. Какой-то безнадежностью, даже отчаянием тихо бледнело оно.

Что зависело тогда от нас? Что могло зависеть? Да ничего! Страна страдала вся, поголовно, и пусть раненый, да еще не сильно, солдат, когда и руки, и ноги целы, хотя, понятное дело, после поправки в госпитале снова должен сесть в воинский эшелон!

Все, кто был в своих комнатах, вышли на кухню, к чугунной лестнице, ведущей вниз. Илья Сергеевич появился на пороге своего жилья, а за ним его молчаливая жена, тетя Оля, Ольга Петровна. И Владька.

Владька неожиданно подскочил и повис на шее отца. Долго не отрывался от его щеки, пока тот не ссадил на пол своего сына, самого из нас высокого и, вроде, взрослого. Обнял Ольгу Петровну. Спокойно и сильно.

Потом резко повернулся и подошел к краю лестницы. Сделал шаг вперед, приспустился на одну ступеньку, скинул голову и приложил руку к фуражке со звездочкой.

Это длилось мгновение, может, секунду, может, две. Но я запомнил это лицо и эту честь, которую отдавал Владькин отец всем нам, остававшимся в коридоре: женщинам и детям. И единственному мужчине – дяде Лене Андрееву.

Отчего я так отчетливо помню эту сценку и уход на войну человека, про которого ничего не знал, да и видел-то его пару раз?

Столько лет, даже десятилетий прошло и столько разных бед, как черные тучи, пронеслось над моей собственной семьей, а вот Илью Сергеевича помню. Будто сидит в моей голове фотография горького цвета – именно вкусом обозначена она почему-то, как будто все заранее известно про этого человека мне, совсем малому мальчишке. И вот этот по-

следний шаг на железную лестницу, ведущую не на улицу, а в войну, я могу если и не понять, то почувствовать. Даже вкус горечи ощутить. Хотя ничего этого мне совсем не было положено.

Но война входила во всех по-всякому. Не зря же говорится, что собаки заранее чувствуют землетрясения и воют, страшась и тем самым предупреждая людей.

Почему же человек, пусть и маленький, – а может быть, именно потому, что маленький, – не способен если не воем, так словами выразить тревогу? Не может предчувствовать беду всей своей небольшой душой?

Я почувствовал. И испугался.

Удивительно, но этот страх заставил меня позже ходить в знакомый дом, к коридору которого я уже чуточку привык.

Скажу даже и поточнее: я стал бояться этого коридора. Как будто был перед ним виноват.

13.

Я встречал на улице Левку Андреева, и мохнатоголового Дольку, и Ларку. Ни разу не видел только Артура, будто он куда-то пропал. И Владьку. Левка всегда звал к себе, остальные были более или менее приветливы, как просто знакомые люди. Кто кивал, кто поднимал руку в приветствии, а Левка звал, да мамочка моя иногда ходила проведать тетю Лину, но я всегда находил причину отговориться. Чтобы не ступать на железную лестницу общего коридора, которая теперь меня почему-то пугала.

В ноябре судьба одарила нас сразу бедой и радостью.

На фронте ранили отца, и его отправили санитарным поездом на Урал, но поезд этот шел через наш город. И он попросил, чтобы его «списали» в здешний госпиталь. А в госпитале работала мамочка.

Вот так: и беда, и радость.

Через пять месяцев после начала войны отец вернулся! Ну да, в госпиталь! А потом ему снова надо было ехать на фронт, второй раз идти на войну!

Как это можно представить себе из наших нынешних времен и как это совершалось тогда, наверное, можем знать только мы, ребята той поры.

Что зависело тогда от нас? Что могло зависеть? Да ничего! Страна страдала вся, поголовно, и пусть раненый, да еще не сильно, солдат, когда и руки, и ноги целы, хотя, понятное дело, после поправки в госпитале снова должен сесть в воинский эшелон! И это считалось удачей! И даже чудом.

– Это надо же! Надо же!

Она и отцу повторяла свое причитание, как только рассказала ему о встрече мальчика с птицами, очень даже знакомого.

Папа плохо слышал, ведь его контузила авиационная бомба, которая грохнула рядом с укрытием, и, если бы не мощная церковная стена, за которой прятались солдаты, не осталось бы там в живых никого.

Может, потому папа часто лежал, уставившись в белый потолок палаты, и хотя рядом сидел я, да и мама приходила, – думал о чем-то как-то вытянувшись, чем-то встревоженный, будто ищет он ответа, а его и нет, этого ответа. Не бывает.

Когда мама, повышая голос, рассказала отцу про Владьку, тот закрыл глаза и недолго так полежал. Потом сказал непонятное:

– До Благовещенья не долежу. – Полежал опять как-то встревоженно. Потом повеселел, будто до чего-то догадался, и проговорил маме: – А почему его надо ждать? Благовещенья?

Я потом спросил у мамы, что такое Благовещенье, и она сказала, мол, церковный праздник. Бывает перед Пасхой. И я кивнул, потому что на Пасху бывают куличи. Если не бывает войны.

Отец лежал в госпитале еще довольно долго. Время от времени он спрашивал меня про Владьку, но я того не видел, а идти к нему домой почему-то не хотелось. После выписки из госпиталя отцу полагалось еще десять дней до отправки на фронт, и его выписали домой. После уроков я бежал домой, и, кроме бабушки, меня встречал отец – в своей довоенной штатской одежде – брюках, валенках на босу ногу, иногда в старом пиджачишке с довоенным стажем и в такой же неновой фланелевой рубаше, которую иногда, когда он был на фронте, надевал я.

И вот на третий день примерно он спросил меня, сколько же птиц в большой клетке у Владьки. Я рассказал, что когда был в их доме первый раз, там чирикало, по словам Ольги Петровны, десять. Но он же продолжал их ловить!

– Тогда, – сказал отец, – пойди сейчас к Владьке, только говори с ним без его мамы, и скажи ему тихонько, что я, твой отец, нашел покупателя сразу на тридцать птиц. Однако есть условие: выпустит их всех в одном месте и сразу. Как на Благовещенье. И пусть он принесет к нашему оврагу ту большую клетку, про которую я рассказывал.

Все получилось как в сказке. Только с одним Владька не согласился – не понес свою огромную клетку. Ольги Петровны не было дома, поэтому

Владька уверенной рукой как-то мастерски, не доставляя птицам неприятных мгновений, пересадил их в две не такие уж большие западни, и мы двинулись к оврагу.

– Кто же это, кто? – допрашивал меня Владька, но я повторял давно разученное.

– Это мой отец нашел покупателя. Но покупает не он, не отец. Отец сказал только про Благовещенье, это праздник перед Пасхой.

– Может, кто из церкви? – предполагал Владька. – А он точно придет?

Я не знал искренне и честно ответов на его вопросы, и когда подошли к нашему дому на краю оврага, мне пришлось сбежать за отцом. Он вышел и громко сказал, почти крикнул Владьке:

– Сколько денег за всех?

Владька назвал.

– По сколько за душу?

Владька ответил. Отец громко посчитал. Получилось почти тысяча, но не тысяча. Чуть меньше. И отец деловито, будто выполняя чье-то поручение, убрал из своей руки в карман несколько бумажек. Остальные передал Владьке, сказал строго:

– Пересчитай.

Тот сосчитал, кивнул головой, сунул в карман, а отец ему велел:

– Открывай с Богом!

– Как открывай! – воскликнул Владька. – А где получатель?

– Он мне поручил. Доверил. Деньги у тебя? Открывай!

И Владька открыл.

Навеки осталась во мне эта картинка!

Зима сдается весне, но снегу полно. День клонится к концу, но еще светло. Небо серое, но какое-то доброе, потеплевшее.

И в тишине – треск крыльев, распрямляющихся и отлетевших. А еще молчание тех, кто не вылетел. Краткое молчание, завершающееся радостным возгласом свободы.

Некоторые птахи даже далеко не отлетали. То ли хотели сказать что-то напоследок, чирикнуть – не то чтобы благодарно, а удивленно. То ли просто не знали, что им теперь делать, на свободе-то, которая требует трудов, а не только радостного чириканья!

Это длилось минуту! Две! От силы три – и стало пусто. Наш добрый, древний мудрый овраг спрятал среди оголенных ветвей своих деревьев и кустов стайку птиц, которым предстояло встретиться весну.

До срока! Раньше поры! Но Благовещение грянуло свободой этих птах – желтопузеньких синиц, крас-

Весь этот коридор, вся коридорная система выстроилась в тот миг возвращения дяди Володи Воробьева наверху, вдоль перил, которые защищали кухонную площадку от лестницы, все смотрели вниз и все кричали: «Ура!»

новился, мне казалось, лучше. Было понятно, что они с тетей Нюрой готовятся к возвращению отца с одной ногой. Долька даже меня спрашивал, захожего гостя:

– Как он будет по нашей лестнице подниматься?

Но, оказалось, Долька с матерью готовились встретить отца и еще одной тайной.

Однажды ко мне прискакал Левка Андреев, просто так, по-пацановски, и вдруг, среди прочей болтовни, сообщил:

– А Долька-то! Имя сменил!

– Во дает! – выдохнул я, но сразу понял: они готовятся встретить безноготца из госпиталя. Ну, на самом деле! Как это может быть, чтобы Адольф – хотя этот Адольф ни в чем не виноват! – встретил тяжелораненого отца с фронта.

Конечно же, я спросил Левку, какое же новое имя выбрал Долька вместе с тетей Нюрой, и Левка забуксовал. Никак не мог вспомнить это новое имя.

– Но зовут-то, как всегда, Долька!

Что-то не сходились концы с концами у Левки, сразу понятно, почему он Львом быть не рискует. И мы пошли с ним на улицу. Как-то незаметно я проводил его до его дома, и тут нам навстречу выходит Долька.

Улыбается мне, улыбается и Левке, а тот спрашивает:

– Я позабыл твою новую кликуху.

– Не кликуху, – ответил Долька, не обидевшись. – А имя. Долиан!

– А такое имя бывает? – удивился я.

И Долька ответил:

– Ну если и не бывает, то теперь есть!

И полез во внутренний карман, вытащил бумажку, трепетающую на ветру, и дал мне прочитать.

Там было написано: «Долиан Владимирович Воробьев».

Я еще подумал тогда про себя, что даже фамилии Долькиной не знал. Какой-то молнией меня пробило: как же он жил раньше – Адольф Владимирович Воробьев?

Ну, и главное мне тоже довелось увидеть. Снова по какой-то причине я зашел в знаменитый коридор и сразу почувствовал легкое возбуждение.

Из дверей то и дело выглядывали все соседки подряд – и Ольга Петровна, и тетя Лина, и дядя Леня с тетей Зиной Андреевой! И даже Людмила Степановна Бутакова с сыном Артуром, которого я не встречал целую вечность.

Я даже и спросить ни о чем не успел, когда Левка просто тремя словами обстановку разъяснил.

– Воробьевы за отцом поехали! Сейчас прибудут! Подожди!

И я дождался.

Сначала дверь сильно хлопнула, и на чугунной лестнице нарисовался Долька. Потом как-то боком вошел человек в солдатской шинели без погон и в шапке-ушанке. Он продвигался медленно и опирался на два костыля. Но ноги-то у него были обе. Он с трудом, не раз передыхая, двигался, не поднимая головы, но в какой-то миг остановился, сдержал с себя ушанку и поглядел наверх.

Это был дядя Володя! Такой же, каким я запомнил его в Новый, сорок первый год, только... Только, мне казалось, что тогда он был черным, как цыган, не зря же и Долька мохнатый под отца. Впрочем, дядя Володя и сейчас был мохматым, но только белым! Почти снежным.

Но он крикнул своим голосом: «Привет!» – и все его голос узнали. И все закричали: «Ура!»

Весь этот коридор, вся коридорная система выстроилась в тот миг возвращения дяди Володи Воробьева наверху, вдоль перил, которые защищали кухонную площадку от лестницы, все смотрели вниз и все кричали: «Ура!»

А дядя Володя, осторожно опираясь на костыли, сначала поднимал их на ступеньку, потом, опираясь на них, переставлял одну ногу, а вторую волочил.

Нетрудно было понять, что другая-то нога у него не своя, а протезная.

Сзади дяди Володи хлопотала тетя Нюра, но ей только это и оставалось – хлопотать, передвигаясь по каждой ступеньке то вправо, то влево, и еще, наверное, она страховала мужа, если он вдруг не удержится на костылях и начнет падать назад.

Ха-ха, конечно! О чем таком секретном могли болтать мы, в ту пору совершенно не разговаривавшие с посторонними дети? Да и какие посторонние могли быть возле нас? Мама и бабушки насквозь родные и ни о чем попусту не болтающие – до того ли им? Учителя в школе? Но это же особенные люди – они поставлены были учить нас всему хорошему. Я был совершенно уверен, особенно в младших классах, что подойди, например, к школе какой-нибудь незнакомый дядька или вовсе не известная тетка и спроси – ребята, мол, я ишу завод номер такой-то, на работу хочу устроиться – как ее бы скрутили всей школой, даже самые маленькие малыши, или побежали бы за учительницами, чтобы они помогли, или, бросив уроки, стали бы идти за такой личностью, пока не подоспеют милиционеры. Впрочем, за всю войну я не слышал ни одного сообщения, даже непроверенного слуха, что на такой-то улице или в таком-то месте задержали в нашем городе фашистского шпиона, свободно говорившего по-русски. Или не говорившего.

Так вот народный комиссариат иностранных дел казался совершенно таинственным и от нас далеким и потому совершенно не интересным.

Аркадий Васильевич за своей женой и сыном все не приезжал, но регулярно приезжали какие-то строгие люди, даже, однажды, я пораженно наблюдал двух молодых еще мужчин – а в шляпах – а в шляпах у нас в войну никто не ходил, – так вот эти в шляпах приехали к тете Миле на газогенераторке и долго переносили в кузов чемоданы и коробки из квартиры Бутаковых.

Вещи увезли, и комната оказалась пустой, и вот как раз в этот момент нас с мамочкой занесло в дружественный коридор.

Сначала, чтобы быть вежливыми, мы заглянули к Андреевым, и мама повосхищалась двумя пупсиками, которые, подрастая, верещали, как и принято радоваться любой живой твари. И тетя Зина, не переставая оживленно обсуждать с мамой здоровье малышей, успела отвесить подзатыльник Левке, разинувшего рот, но сидевшему за столом, и подать ему команду: «Не отвлекайся!»

Тут же она оправдала себя в наших глазах, выкликнув:

– Плохо учится! Двойки да тройки!

Тут же, мимолетно глянув на Левку, воскликнула сердито:

– Да еще на малышей валит! Они ему, видите ли, мешают! Я те помешаю!

Потом мы заглянули в комнатку тети Лины, всегда говорливой, но тогда молчаливой. Она сидела

на табуретке между двух венских стульев, на которых висели белые кителя морских офицеров, и подшивала к ним белые же ленточки, объяснив, что это свежие воротнички, пришиваемые каждый раз перед выходом, а ее квартиранты готовятся к какому-то торжественному случаю.

Тут же тетя Лина сообщила, что дядя Гриша исправно пишет и ему присвоили звание майора, а теперь ведь у офицеров погоны – видите, мол, какие красивые у моряков-то теперь мундиры, вот и у Гриши там где-то тоже. Но он ведь артиллерист, а там все не такие нарядные в сравнении с моряками, да и кто ему там, на передовой, свежий воротничок подошьет!

Тетя Лина всплакнула, мамочка ей помогла, и мы отправились попрощаться к Бутаковым.

Так вот, когда мама постучала и, наверное, раньше времени потянула дверь на себя, из комнаты раздался женский визг. И я торопливо сунул голову вперед. То, что я увидел, было не очень понятно. Перед нами, совсем близко, стояла вроде бы тетя Мила. В юбке, в тапках, в теплой кофте. Но голова ее была совсем голая. Просто лысая.

Она верещала, не переставая, потом кинулась куда-то за одинокий буфет и тут же вышла, поправляя кудрявую прическу. Во дает! На голове была ее отличная, даже с локонами пушистая прическа.

Я хлопал глазами, ничего не понимая, а разговаривать о непонятном происшествии было, конечно, неловко. Мама даже вроде поперхнулась и закашлялась. Потом с трудом пояснила, что мы зашли попрощаться и что она желает Бутаковым добра и удач, ведь тетя Мила уезжает в самую что ни на есть столицу – золотую Москву.

Тетя Мила, пришедшая уже в себя, махала руками, говорила, что им уже дали квартиру и на днях дадут пропуск в Москву – туда ведь в войну кого хочешь не пускали, – но квартира очень маленькая, хотя в самом центре, а у Аркадия должность не высокая, но с перспективой, и Артуру, который учит с детства английский язык, придется добавить еще и французский. А она, тетя Мила, будет работать в педагогическом институте и преподавать исторический материализм. Вот так, одной длинной фразой без перерыва она рассказала всю свою ближайшую жизнь и, будто споткнувшись, умолкла.

Эти два последних слова я тогда, конечно, не понял и не запомнил, сумев восстановить это уже только теперь, но и тогда мне удалось сообразить, что тетя Мила никакая не тетя и уж тем более не тетка, а может – чего не бывает! – какая-то такая ученая. Ученее, может быть, чем даже наши тутошние учителя.

– Четвертый? – удивился я. – А не седьмой?
– До седьмого я не доучусь, пожалуй, – грустно ответил Левка и спустился со мной вниз, на улицу. И там меня просто поразил. Полез в штаны, достал откуда-то из-под ремня завернутые в тряпицу тонкую бумажку и табак, свернул сигарку и закурил.

Перед этим мы с ним сошли по ступенькам на тротуар и завернули за угол.

И все бы ничего, да Левка-то заканчивал только третий класс, рановато все же. Даже среди оторванных пацанят этот возраст считался сплывим и не подходящим пока для курева и выпивки. Левка слегка опережал ход общепризнанных событий. Хуже того, Левка, не признающий себя Львом, не любил читать, а, сказать вернее, не умел делать это свободно, как, в общем-то, тогда полагалось уважающему себя человеку. Но зато считал он отменно. Запросто, и в голове, а не на бумаге, складывал и вычитал, умножал и делил.

А тогда, в тот день и в тот миг, докуривая свою самокрутку, Левка деловито поделился со мной:

– Надо не забыть рот прополоскать. А то мать узнает, опять затрещину вломит.

И вдруг посмотрел на меня серьезно:

– А тебе, паренек, – проговорил серьезно, – желаю прорваться. Ты-то прорвешься, вот бы и мне...

Он исчез за высокой дверью, где начиналась чудесная чугунная лестница, глухо отзывавшаяся на торопливые шаги тутошних жильцов, и хотя мы не раз еще увидимся с Левкой, поболтаем, подрастая, даже, почти по-взрослому, потреплемся, но та его уместная фраза осталась самой серьезной в наших с ним отношениях.

Еще совершенно детских.

24.

Отец мой вернулся осенью сорок шестого года, как раз ко дню моего рождения, и первое, что мы сделали после объятий, так это пошли в баню.

В городе нашем славном функционировали три главные бани – центральная, южная и северная, и их, конечно же, не хватало, потому что в редком доме существовали собственные ванны комнаты или хотя бы душ. Таких счастливых домов было, полагаю, штук десять-двадцать, не больше, и их почему-то называли обкомовскими. Видать, там жили большие начальники. А весь остальной люд, особливо малый, старый и женский – взрослые-то мужики частенько мылись на своих заводах, – круглую неделю, с шести утра, стояли в длиннющих банных

очередях. И бани наши – тоже ведь заслуженные работники по мойке, чистке и парке всех без разбору чина граждан. Городские бани, стареющие и уходящие, надо бы давно уж назвать самыми перезаслуженными именами, потому как у этих-то, истинно чернорабочих заведений не было ни единого повода возвыситься над другими – да, да, производствами, – потому что они пыхтели, выдавая горячую воду, пар, и хоть продавали при этом маленькие, как в автобусе, билетки, а доходу никакого принести своему хозяину не могли. Да и хозяин-то был у них тогда – город, а какая городу выгода может быть от того, что он граждан своих умыл?..

Умыл, попарил, веники дал – вот это за денежки, ведь на любителя, – и идите дальше, дорогие человеки, жить и трудиться.

Папа сперва хотел переодеться в штатское, но мамочка отговорила его, и хотя он изо всех сил попытывался, мол, какая разница, весело смеялась и говорила: «Сам увидишь».

Конечно, мы обнимались, ели, а взрослые скромно выпивали, пока наконец не стало темно, и мама погнала нас мыться.

Банька наша была неказиста, покрытая когда-то белой краской, к победе она посерела, как будто старуха какая-то еще больше постарела. А внутри ее, до войны еще, покрасили в темно-зеленый цвет, похожий на цвет грязной солдатской шинели. Я как-то подумал, может, работнички, заведовавшие покраской, перепутали что-то всерьез. Шинель-то уж лучше бы одеть сверху, а изнутри все окрасить белым цветом, все же баня, и тут люди меняют ношенные поддевки свежими, побелее, – но дальше этого соображения я не ушел, так и оставив вопрос открытым для себя.

И вот мы с папой подходим к нашей Центральной бане. Боже! Очередь вытянулась из входной двери на улицу, даже две очереди – мужская, покороче, и женская, подлиннее.

Папа был в пилотке и гимнастерке с медалью «За отвагу», «Звездочкой», как называли орден Красной Звезды, ну и еще с двумя медалями – «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Он спросил крайнего, кто последний, узнал, когда брать билеты и долго ли стоять. А спрашивал он у старика с авоськой в руке, где лежало, наверное, свежее белье, и тот, седой, с нестриженной бороденкой, к отцу обернулся и внимательно вглядывался в него.

Потом сказал:

– Как сын мой! Но он под Сталинградом упокоился!

Однако не заплакал, не стал говорить об этом дальше, но приказал – моему отцу.

заканчиваются медленно. Как будто нехотя. Неторопливо, снова и снова обжигая задержавшимися сообщениями о найденных в окопах рассекреченных бумагах, с опозданием опознанных свидетельств.

И тогда, скоро после Победы, узнавание и справедливость приходили не торопясь. А причины не походили друг на друга.

Одна такая зацепила и коридор.

Уже вернулся в свою старую семью дядя Гриша, уже почти наладилось довоенное бытие, уже окрепли голоса четверых братишек Андреевых, уже дядя Володя привык к своему протезу и ходил на нем, поскрипывая, но уверенно, уже давно коридор доел недетские конфетки с ликером из Франции от бывших соседей.

И, наверное, уже утешилась вдова Ильи Сергеевича Ольга Петровна, как и утешился сын их Владька, как вдруг жизнь коридора взорвалась.

Одни говорили, что это произошло вечером, другие – что все началось ранним утром, но по чугунной лестнице поднялась высокая фигура – опять в солдатской шинели без погон, с поднятым воротником.

Впрочем, этого-то никто и не видел. Зато все услышали сдавленный короткий крик – не крик, а женский вопль, будто тяжелый выдох:

– А-а-ах!

Женский вопль трудно закрепить за личностью: нельзя понять, кто именно кричит, особенно поначалу.

Но кричала Ольга Петровна! А, открыв криком сдавленным что-то, выдохнув, умолкла.

На такой стон соседи не выскакивают на площадку, мало ли какая боль ударила.

Но тут зачем-то вышли.

Ольга Петровна почему-то стояла на коленях, а ее пытался поднять худющий дядька – кожа да кости!

И этот дядька оказался Ильей Сергеевичем! Бывшим энкавэдэшником, потом пропавшим без вести!

Он оброс многодневной щетиной, был почти неузнаваем и наклонялся к жене, другой рукой обнимая Владьку, выросшего ведь за годы войны, длинного – в отца, и если не догнавшего его ростом окончательно, то почти догнавшего.

Соседи не знали, как себя вести. Даже орденосный дядя Гриша. И уж конечно, дядя Володя, бедный водитель, не способный больше водить автобусы.

Илья Сергеевич поднял жену, прижал ее к себе.

А потом, как рассказал мне Левка, просто отработовал совсем по-военному. Чтоб, наверное, сразу все знали его правду. И уже сами думали, что с такой правдой делать.

– Меня ранили. Я попал в плен. Работал у них на заводе. На военном. После победы меня осудили. И я был в нашем лагере. Теперь освобожден.

Левка сказал мне, что взрослые коридорной системы повели себя по-разному. Дядя Гриша шагнул навстречу дяде Илье, протянул руку и сказал:

– Раз выжил, надо жить.

А дядя Володя, хоть и простой шофер, наоборот, молча отвернулся и заскрипел казенной ногой.

Ну а дядя Леонид Андреев, Левкин батяня, обнял Илью Сергеевича. Тот стоял, не шевелясь.

Так сказал мне Левка. А я пересказал родителям.

Мы были все вместе, обедали, хлебали тощий послевоенный супец, и папа сразу отложил ложку. Опустил голову.

– Что скажешь? – спросила его мама.

– А что тут сказать? – ответил отец. – Ранение, наверное, подтверждено. А тех, кто попадал в плен, признавали предателями. Не позавидуешь. Хотя и живым остался...

А Илья Сергеевич вел себя интересно.

Левка говорил, что видел его в первое утро согбенным, почти горбатым стариком. Но, посидев дома денек-другой, вышел к соседям уже совершенно прямой, как до войны, в тот последний Новый год. И всем смотрел прямо в лицо, голову не опускающая и не отводя глаза.

Вот и мне он, встретив меня на чугунной лестнице, поглядел в глаза, неожиданно протянул руку и вдруг сказал совершенно неожиданное:

– Знаешь, а я тебя там вспоминал!

Я дрогнул всем своим невеликим телом, всей душой: там, у немцев, в тылу – и я?!

И неожиданно для себя я протянул руку и потрогал его шинель. Я думал, что он в плену ее носил, и, наверное, хотел что-то ощутить, понять, почувствовать, как чует какая-нибудь животина, и сделал это молча. А он понял меня с полужеста и взял мою ладонь в свою.

– Нет! – ответил он на мой бессловесный вопрос. – Те тряпки я сразу сжег.

Он пошел вниз по лестнице, а я стоял ошарашенный и своим жестом, и его кратким ответом.

Жили они очень бедно. Бродили разговоры, что Илья Сергеевич не может устроиться на работу, и он ходил разгружать уголь на станции. Потом его взяли на завод, потому что он оказался каким-то умелым работником, и все предполагали, что он обучился этому в плену.

Моя мамочка несколько раз относила Ольге Петровне авоськи с мукой и подсолнечным маслом, а Владька как-то спросил меня, не захочет ли мой

